

Никита Никитин
Хранительница трона. Том первый

https://litres.ru/74799517
SelfPub; 2026

Аннотация

Египет, двадцать девятый год правления Рамсеса Третьего. В деревне мастеров второй месяц не выдают зерно. Семнадцатилетняя Мерит умеет молоть ячмень и не умеет держать язык за зубами. Мать сватает её за сына десятника.

Но на празднике ладья бога останавливается перед дочерью каменотёса и склоняется до земли. Так Мерит узнаёт то, что скрывали от неё с рождения. Трон Египта - не кресло из золота. Трон - это женщина. Только та, кого выбрала сила, может сделать человека фараоном. И сделать это она может лишь один раз в жизни.

Теперь её ждёт дворец, где жёны старого царя уже делят власть, а двое царевичей смотрят на неё по-разному. Её ждёт слепая старуха, которая знает дорогу в двенадцать часов ночи - туда, где плывёт солнце и взвешивают сердца. И её ждёт тот, кто по ночам скребётся у порога и оставляет на песке пять длинных борозд.

А далеко на севере лучник Небамон получает золото за отрубленные руки врагов и ещё не знает, что мёртвые ничего не забывают.

Никита Никитин Хранительница трона. Том первый

Никитин Никита Юрьевич

Хранительница трона. Том первый. «Голодный год»

Глава первая

Место Истины

Двадцать девятый год правления Рамсеса Третьего. Второй месяц сезона всходов.

Всякому в Месте Истины было известно, что девушка семнадцати лет, которая умеет молоть ячмень и не умеет держать язык за зубами, должна выйти замуж прежде, чем жених заметит второе. Беда заключалась в том, что ячменя не привозили уже второй месяц. Молоть было нечего, а языку Мерит, напротив, работы прибавилось.

- Небнефер, - сказала мать, не поворачиваясь от очага, где в горшке булькало то, что в лучшие времена называлось бы похлёбкой, а теперь называлось просто «горячее». - Сын десятника. У них в кладовой два мешка.

- Чего?

- Ячменя, глупая. Чего же ещё.

- Значит, ты сватаешь меня за мешки.

- Я сватаю тебя за человека, у которого есть мешки, - с до-

стоинством поправила мать. - Это разные вещи. Умные девушки понимают разницу.

Мерит понимала разницу прекрасно. Мешки, по крайней мере, не рассказывали за едой, сколько камня отбили за день, и не смеялись собственным шуткам раньше, чем договорят. Но говорить этого вслух она не стала. В доме было слишком тихо для ссоры: младший брат Хуи спал на циновке, поджав колени к животу, как спят голодные дети, - будто, если сжаться посильнее, голоду внутри останется меньше места.

Не думай о хлебе. Просто не думай.

Она подумала о хлебе.

* * *

Деревня лежала в каменной чаше между скалами, и солнце заглядывало в неё поздно и уходило рано. Семь десятков домов, одна улица, стена из необожжённого кирпича вокруг - и всё. Воду привозили на ослах от реки водоносы, а зерно, рыбу, масло и пиво - по распоряжению царских писцов. Из деревни уходили только мужчины, и только одной дорогой: через перевал, в долину, где они долбили скалу под вечный дом фараона. Восемь дней там, два дома, и снова туда.

Деревня называлась Место Истины. Мерит в детстве думала, что это потому, что здесь никто не лжёт. Потом подросла и поняла, что лгут здесь так же, как везде, просто о другом. Мастера не говорили, что делают в долине. Жёны не спрашивали. Дети не рассказывали чужим, где живут. Истина в Месте Истины была вещью, которую держат под замком.

В стене у входа в каждом доме была ниша, а в нише стоял предок. У Мерит это была бабушка - каменная голова с плечами, побелённая, с нарисованными углём глазами. Бабушка умерла, когда Мерит было три года, и с тех пор занималась тем, что смотрела на входящих с выражением, которое при жизни, по уверениям соседей, было у неё постоянно: смесью подозрения и лёгкого разочарования.

Мерит здоровалась с ней каждое утро. Так полагалось. И каждую ночь просила кое о чём ещё. Так не полагалось вовсе.

- Не выдавай меня, бабушка, - шепнула она и в эту ночь, вытаскивая из-под своей циновки три плоских белых обломка известняка.

Бабушка, как обычно, промолчала.

На обломках были знаки. Кривые, неровные, нарисованные углём: сова, вода, рот, тростник. Хуи готовили в писцы, и он учился у самого Аменнахта, писца деревни. Каждый вечер он приносил домой свои уроки, а Мерит каждую ночь их перерисовывала. Девушкам письмо было ни к чему. Девушкам полагалось молоть, ткать, рожать и вовремя замолкать.

Сова - это «м». Вода - «н». Рот - «р». Мерит водила пальцем по знакам и чувствовала то, что не смогла бы объяснить никому: будто каждый знак - это дверь. Маленькая, узкая, но дверь. И за ней что-то есть.

На шее у неё висела бусина на шнурке - тёмная, цвета густого мёда, из чего-то похожего на застывшую смолу. Мерит

носила её столько, сколько себя помнила. Мать никогда не позволяла её снимать - даже когда Мерит купалась, даже на ночь.

- Это от бабки, - говорила мать. - Оберег.

И каждый раз её глаза при этом смотрели куда-то в сторону, в угол, как будто там лежало что-то, что она никак не могла найти.

Бусина пахла. Не так, как пахло всё в деревне, - не дымом, не потом, не ослом и не рыбой. Сладко и горько сразу, как пахло однажды в храме за рекой, куда Мерит взяли маленькой. Только гуще. Иногда ночью, когда в доме все спали, Мерит казалось, что бусина тёплая. Теплее, чем должна быть.

Это ты её греешь. Она же весь день на тебе.

Но кожа вокруг неё оставалась прохладной.

* * *

Отец вернулся утром, на два дня раньше срока.

Это само по себе было новостью: мастера не возвращались раньше срока, разве что если кого-то придавило камнем или укусил скорпион. Но отец, каменотёс Пашеду, шёл по улице на собственных ногах, и рядом шли другие - вся левая сторона, так в деревне называли половину бригады. Тридцать человек, пыльные, худые, с инструментами на плечах. Они шли молча, и деревня молча высыпала им навстречу.

- Что случилось? - мать схватила отца за руку. - Кого?

- Никого, - сказал отец. - Ещё никого.

Он сел на порог и долго пил воду из кувшина, пока не

выпил всю. Мерит смотрела на его руки. Руки каменотёса похожи на камень, который он рубит: серые, в трещинах, с белой пылью в каждой морщине. Сейчас они дрожали.

- Восемнадцать дней, - сказал отец, ни к кому не обращаясь. - Восемнадцать дней сверх срока, а пайка нет. Аменнахт ходил к начальникам. Начальники ходили к другим начальникам. Все говорят: завтра. Завтра, завтра. Мы рубим гробницу для бога, а сами жрём траву.

- Тише, - сказала мать.

- Зачем тише? - отец поднял голову, и Мерит не узнала его лицо. - Пусть слышат. Завтра мы пойдём к храмам. Все. И сядем там. И не встанем, пока нам не дадут есть.

На улице стало совсем тихо. Где-то закричал осёл - один раз, и тут же замолчал, будто тоже испугался.

Никто никогда так не делал. Мерит знала это так же точно, как знала, что солнце встаёт на востоке. Мастера фараона не садились у храмов. Мастера фараона рубили камень, получали свой паёк и молчали. Так было при деде, при прадеде, при всех, чьи каменные головы стояли в нишах у входа.

Так было всегда. Пока была еда.

* * *

Решать, впрочем, было не отцу и даже не Аменнахту. В таких делах деревня обращалась к тому, кто стоял выше всех начальников.

Покровитель деревни, обожествлённый фараон Аменхотеп Первый, умер так давно, что успел стать богом, но не на-

столько давно, чтобы перестать интересоваться делами своих мастеров. Его деревянную статую в позолоченной ладье носили по улице на плечах восемь человек, а жители клали перед ним черепки с вопросами. Если ответ был «да», бог кивал. Если «нет» - отступал назад. Если вопрос был глупым, бог, по слухам, мог и вовсе отвернуться, но этого никто не видел уже лет двадцать.

Шествие назначили на полдень. Пришли все: женщины, дети, старики, мастера обеих сторон бригады. Пришли и чужие - в последние дни их стало много в деревне. Из Фив прислали людей визиря, чтобы разобраться с «волнениями», и теперь они стояли у стены в чистых белых одеждах, и от них пахло маслом и сытостью.

Одного из них Мерит запомнила сразу. Немолодой, полноватый, с лицом, на котором улыбка жила так долго, что протоптала себе тропинки морщин. Он раздавал детям сушёные финики из мешочка на поясе и смеялся, когда они хватали их грязными пальцами.

- Это писец Хеви, - шепнула соседка, старая Ият, которая знала всё обо всех. - Большой человек. Говорят, раньше служил в войске. Говорят, весёлый.

Хеви, будто услышав, обернулся и подмигнул Мерит. Она не ответила.

Статую вынесли из часовни, и толпа загудела. Восемь носильщиков в белом, на плечах шесты, на шестах ладья, в ладье - бог, маленький, с блестящими глазами. Перед ним на

земле лежали черепки. На одном Аменнахт крупно написал: «Идти ли нам к храмам?»

Бог двинулся вперёд. Толпа затихла.

Мерит потом много раз пыталась вспомнить, что именно она почувствовала в ту минуту. Вспоминалось только одно: бусина на шее вдруг стала горячей. Не тёплой. Горячей, будто ей положили на грудь уголь из очага.

Носильщики дошли до черепка. И пошли дальше.

Кто-то ахнул. Аменнахт сделал шаг, протянул руку. Носильщики шли - и лица у них были странные, растерянные, словно не они несли ладью, а ладья тащила их за собой. Толпа расступалась. Ладья покачивалась над головами и шла прямо, никуда не сворачивая, и Мерит с ужасом поняла, куда.

Нет. Нет-нет-нет. Не ко мне. Пожалуйста, не ко мне.

Ладья остановилась перед ней. Мерит видела позолоту на носу, видела трещину в краске на щеке бога, видела, как дрожат руки ближнего носильщика - это был Небнефер, сын десятника, тот самый, с двумя мешками.

И бог склонился.

Не кивнул - так, как кивают в ответ на вопрос. Он опустился низко, медленно, всей ладьёй, как склоняются перед тем, кто выше. Как склоняются перед фараоном.

Вокруг не было ни звука. Даже мухи, кажется, перестали жужжать.

Мерит стояла, держась рукой за бусину, и чувствовала,

как та жжёт ладонь, и думала только одно: что мать сейчас её убьёт. Это было глупо, но ни о чём другом думать не получалось.

Потом всё случилось сразу. Носильщики выпрямились, словно их отпустили. Кто-то закричал, кто-то засмеялся, дети побежали, Аменнахт что-то говорил, подняв руки, старая Ият сжимала амулет с глазом Хора и что-то бормотала. Мать пробиралась к Мерит через толпу с лицом белым, как известняк.

А Мерит смотрела в другую сторону.

Писец Хеви не смеялся и не кричал. Он стоял у стены и смотрел - не на статую, не на толпу и даже не на неё. Он смотрел на бусину у неё в кулаке. Улыбка всё ещё была на месте, на своих протоптанных тропинках, но глаза над ней стали совсем другими. Пустыми и очень внимательными. Так смотрит торговец, когда замечает в чужих руках вещь, которую давно считал пропавшей.

Мерит моргнула. Писца у стены уже не было.

* * *

Ночью она не спала.

Мать так ничего и не сказала. Не накричала, не ударила, не стала спрашивать. Она просто сидела у очага до темноты, глядя в угол, и Мерит это пугало сильнее любого крика.

Мастера всё-таки решили идти к храмам. Бог ответа не дал - значит, решили сами. Отец лёг рано, отвернувшись к стене. Хуи сопел во сне. Где-то за стеной деревни выла со-

бака - долго, на одной ноте, и никак не могла замолчать.

Мерит лежала и держала бусину. Она уже не жгла. Она была просто тёплой, как всегда.

Ничего не было. Носильщики споткнулись. Земля неровная. Небнефер вообще неуклюжий, все знают.

В темноте у входа белела бабушкина голова. Мерит смотрела на неё, пока не начали слипаться глаза.

И тогда, на самой границе сна, ей показалось, что из угольных глаз бабушки тихо сыплется пыль - как будто каменные веки впервые за четырнадцать лет моргнули.

Это мышь. Это просто мышь бегает по нише.

Она так и уснула, повторяя это.

В журнале деревни писец Аменнахт в тот день записал только, что зерно не привезли, а мастера постановили завтра идти к храмам. О статуе он не написал ничего. Писцы, как известно, записывают лишь то, что можно сосчитать.

Глава вторая
Золото доблести

Пятый год правления Рамсеса Третьего. Западная дельта Нила.

В рыбацких деревнях дельты говорили, что у сына рыбака три дороги: сеть, крокодил и войско. Сеть надёжнее, крокодил быстрее, а войско, по общему мнению, соединяло худшее из обоих: кормило так же скудно, как сеть, и убивало так же внезапно, как крокодил, только перед этим ещё долго

гоняло по пыли.

Небамону было шестнадцать, и выбирать ему не пришлось. Весной в деревню приехал писец с двумя стражниками, выстроил мальчишек вдоль берега и пошёл вдоль ряда, тыкая в каждого пальцем и шевеля губами. Брали каждого десятого. Небамон стоял девятым, а десятым - соседский Ипи, тощий и кашляющий с самой зимы. Писец посмотрел на Ипи, потом на Небамона, и вздохнул.

- Этот не дойдёт, - сказал он про Ипи. - Бери крепкого.

Так Небамон впервые понял главное правило войска: неважно, кто ты. Важно, как тебя посчитали.

Мать дала ему в дорогу две лепёшки и амулет с глазом Хора. Отец дал нож и совет:

- Держись середины. Передних убивают первыми, задних - последними, а середину считают в конце.

Ипи потом говорил всем, что ему повезло. Через год он утонул, когда ставил сети.

* * *

Лагерь у Мемфиса оказался городом. Небамон, который до того видел только реку, тростник и сорок домов своей деревни, три дня ходил по нему с открытым ртом, пока десятник не огрел его палкой и не объяснил, что рот лучника нужен для того, чтобы молчать.

Здесь было всё. Лошади - он видел их впервые: огромные, горячие, пахнущие потом и чем-то сладким, с глазами, в которых отражалось небо. Колесницы, лёгкие, как корзины, на

двух колёсах, с возничими, которые ходили так, будто сами были лошадьми. Нубийские лучники с перьями в волосах, которые попадали в летящую птицу и смеялись над теми, кто промахивался в стоящий кувшин. И шарданы - наёмники с далёких северных островов, в шлемах с рогами, с круглыми щитами и длинными мечами. Они говорили на языке, похожем на ссору, и, кажется, ссорились даже тогда, когда пели.

Мир оказался больше деревни настолько, что от этого кружилась голова. И Небамон, сын рыбака, впервые в жизни подумал, что, может быть, и сам он больше, чем сеть и лодка.

Мысль эта продержалась до первой ночи.

Вши. Тухлая вода из бочек. Лепёшки, которые надо было размачивать, чтобы не сломать зубы. Понос, от которого к утру в палатке нечем было дышать. Десятник с палкой. Сотник с палкой побольше. Писцы, которые не носили палок, потому что им достаточно было записать твоё имя, - и тогда палку брал кто-нибудь другой. Лук из акации, тугой и упрямый, от которого к вечеру пальцы покрывались кровавыми мозолями. Стрелы из тростника с медными наконечниками, за каждую из которых, если потеряешь, вычитали из пайка.

Небамон учился быстро. Не потому, что был способным, а потому, что медленных били чаще.

* * *

Писца их сотни звали Хеви. Он был старше Небамона всего на два года, круглолицый и весёлый, будто войско было для него не тяжёлой службой, а затянувшимся праздником.

- Ты из дельты? - спросил он в первый же вечер, подсаживаясь к Небамону у костра. - Сразу видно. У вас там все смотрят так, будто из-под ног вот-вот вылезет крокодил.

И засмеялся так заразительно, что засмеялся и Небамон, - впервые с того дня, как ушёл из дома.

Хеви был из Мемфиса, сын писца и внук писца, и в войско попал, по его словам, «за излишнюю любовь к арифметике». Что это значило, он не объяснял. Зато почему-то выбрал Небамона - садился рядом у костра, рассказывал смешные истории про сотника и иногда, когда никто не видел, совал ему лишнюю лепёшку.

Лепёшки были свежие. Небамон каждый раз хотел спросить, откуда у писца лишний хлеб, когда всем выдают точно по счёту, - и каждый раз не спрашивал. Голодный человек вообще мало спрашивает.

* * *

Через два месяца войско выступило на запад, туда, где поля дельты кончались и начиналась пустыня. Говорили, что ливийцы - племена либу, мешвеш и сепед - перешли границу и идут к реке.

Небамон представлял себе вражеское войско. Ряды, щиты, колесницы. А увидел - народ.

Они шли с жёнами и детьми, с козами и коровами, с повозками, на которых сидели старики. Высокие, светлокожие, с перьями в волосах и одной длинной прядью у виска, с узорами, наколотыми на руках. Они шли туда, где была вода,

потому что у них дома воды больше не было. Небамон смотрел на них с гребня холма и думал, что они похожи на его деревню, если бы его деревню выгнали с реки.

- Красиво идут, - сказал рядом Хеви, щурясь. - Жаль, за женщин не платят.

- В каком смысле?

- Только за руки мужчин, - сказал Хеви и подмигнул.

Небамон не понял тогда, что это не шутка.

* * *

Ночью перед битвой не спал никто, хотя все притворялись.

Держись середины. Середину считают в конце.

Небамон лежал на спине и смотрел на звёзды. Звёзд в пустыне было больше, чем над рекой, - так много, что казалось, небо сейчас прорвётся под их тяжестью и посыплется вниз.

Завтра я кого-нибудь убью. Или меня. Одно из двух. Может, и то, и другое.

Где-то в лагере ливийцев плакал ребёнок. Долго, тонко, на одной ноте.

* * *

Битва была совсем не такой, как в песнях.

В песнях фараон мчится на колеснице, и враги падают перед ним, как колосья. На деле была пыль. Пыль, крики, вой, ржание, грохот колёс, и ничего не видно дальше вытянутой руки. Колесницы ушли вперёд, и пыль за ними встала стеной. Сотник орал: «Бей! Бей!» - и Небамон бил, натягивал тетиву

и отпускал, натягивал и отпускал, в пыль, в крик, не видя, куда попадает, пока пальцы не стали скользкими от крови из лопнувших мозолей.

Потом из пыли выбежали ливийцы.

Они бежали прямо на лучников - кто-то прорвался сквозь колесницы, - и середина оказалась ничем не лучше передних. Небамон увидел, как человеку рядом копьё вошло в живот и вышло со спины, увидел его удивлённое лицо, увидел, как тот сел на землю, будто устал. Небамон хотел натянуть лук, но тетива порвалась. Он хотел бежать - и не смог. Ноги просто не стали слушаться.

Он упал. Сверху упал кто-то ещё, тяжёлый и горячий. Небамон не знал, свой или чужой. Человек дёрнулся раз, другой и затих. По шее Небамона потекло тёплое.

Не шевелись. Не шевелись. Ты мёртвый. Ты уже мёртвый, тебя не надо убивать.

Он пролежал так до вечера.

Он слышал, как битва ушла дальше, к реке. Слышал, как кричали раненые - сначала громко, потом тише, потом совсем тихо. Слышал мух. Мухи прилетели почти сразу, тысячи мух, они ползали по его лицу, по губам, по векам, а он не шевелился. Тело сверху остывало. Сначала было горячим, потом тёплым, потом никаким.

Когда солнце стало красным, Небамон наконец выполз.

Поле было усеяно телами. Свои, чужие, лошади. Между ними ходили египтяне, переворачивали мёртвых, что-то ис-

кали. Небамон встал на четвереньки, и тут прямо перед ним, в двух шагах, приподнялся ливиец.

Мальчишка. Его лет, может, младше. Без перьев - видно, потерял. Одна нога у него была неправильно вывернута, но в руке он держал копьё и смотрел на Небамона так же, как Небамон на него: с ужасом и удивлением, что тот ещё жив.

Небамон не помнил, как вытащил отцовский нож. Помнил только, что мальчишка начал поднимать копьё - медленно, как во сне, - а нож уже был у него в горле.

Мальчишка посмотрел на Небамона. Что-то сказал - одно слово, Небамон не понял. И лёг.

Он даже не успел поднять копьё.

Небамон сидел рядом и смотрел на свои руки.

Даже не успел.

* * *

Вечером по полю пошли с ножами.

Так было заведено: за каждого убитого врага лучник или пехотинец приносил писцам его правую руку. Руки складывали в кучи, писцы считали, и по счёту выдавали награду. Самым храбрым - «золото доблести».

Небамон видел, как это делается. Видел, как солдаты из его сотни переходили от тела к телу, не разбирая, кто кого убил. Видел, как бородатый пехотинец отрубил руку у мертвеца, которого Небамон своими глазами видел убитым колесничим, и сунул её в мешок. Никто ничего не говорил. Мертвецы не спорили.

У Небамона была одна рука. Мальчишкина. Он не мог заставить себя взять даже её.

А потом подумал о сотнике. О палке. О том, что все видели, как он пропал в начале боя и появился, когда всё кончилось. О слове, которое скажут ему вслед. О том, что трусов в войске не убивают - их просто бьют, пока не станет всё равно, жив ты или нет.

Он взял мальчишкину руку. Потом ещё одну, у мертвеца рядом. Потом ещё.

Они мёртвые. Им всё равно. Им уже всё равно.

Шестую он отрезал у ливийца, который лежал лицом вверх, с открытыми глазами. Только когда нож уже вошёл в запястье, Небамон увидел, что глаза двигаются. Человек был жив. Он смотрел на Небамона и шевелил губами - произносил какое-то слово, одно и то же, снова и снова. Может, молитву. Может, имя. Небамон не знал языка.

Он мог остановиться. Потом он много раз думал о том, что мог.

Он не остановился.

Когда он выпрямился, в трёх шагах стоял Хеви с дощечкой. Смотрел и улыбался - той же улыбкой, что у костра.

- Шесть, - сказал Хеви и что-то записал. Потом наклонил голову. - Нет. Давай напишем семь. Для ровного счёта.

Небамон ничего не ответил. Хеви подошёл ближе и сказал совсем тихо, почти ласково:

- Не бойся. Я никому не скажу. Друзья ведь для этого и

нужны, правда?

* * *

Руки сложили в кучу перед шатром военачальника. Куча была выше человеческого роста. Писцы считали до самой ночи, и над кучей висело облако мух, гудящее, как улей.

Небамону дали золотую муху - маленькую, с ноготь, на шнурке. Такие давали за храбрость: говорили, что муха возвращается, сколько её ни гони, и так же должен возвращаться в бой храбрый воин. Сотник хлопнул его по плечу. Бородатый пехотинец посмотрел с уважением. Кто-то принёс пива.

Позже, у костра, Хеви рассказал смешную историю.

- Вы не поверите, - говорил он, вытирая слёзы от смеха. - Я сверил свой счёт рук со счётом тел, который вели на поле. Рук на одну больше! Одна лишняя рука, понимаете? Сотник говорит: перепиши. Я говорю: переписывал трижды. Одна лишняя!

- И что это значит? - спросил кто-то.

- Значит, кто-то ушёл с поля без руки, - сказал Хеви и посмотрел на Небамона. - Бывает.

Все засмеялись.

* * *

Ночью Небамон проснулся оттого, что кто-то скрёбся у входа в палатку.

Тихо. Ровно. Как будто пальцы скребли по плотной ткани - не сильно, не пытаясь войти. Просто давали знать, что они здесь.

Шакал. Шакалы приходят на запах крови. Весь лагерь пахнет кровью.

Скрежет прекратился. Небамон лежал, сжимая на груди золотую муху, и слушал, как рядом храпят товарищи.

Это шакал.

Утром у входа в палатку он увидел на песке следы. Не звериные. Пять длинных тонких борозд, как будто что-то ползло, цепляясь за землю пальцами, и не имело ничего, чтобы ползти иначе.

Небамон затёр следы ногой, пока никто не проснулся.

Золотую муху дают за упорство: она возвращается, сколько её ни гони. Небамон тогда ещё не знал, что возвращаются не только мухи.

Глава третья
Мы голодны

Двадцать девятый год правления Рамсеса Третьего. Десятый день второго месяца сезона всходов.

Во всякой деревне есть два рода новостей: те, которые знают все, и те, которые все обсуждают. К утру история со статуей перешла из первого рода во второй, и обсуждали её с таким усердием, что почти забыли про голод. Почти.

Мать Небнефера пришла ещё до рассвета. Она стояла в дверях, не переступая порога, и говорила так вежливо, что у Мерит заныли зубы.

- Мы, конечно, очень уважаем вашу семью, - говорила она,

глядя куда угодно, только не на Мерит. - Но после вчерашнего... Мы люди простые. Нам непонятное ни к чему. Небнефер у нас мальчик слабый, впечатлительный, всю ночь не спал.

- Он нёс бога, - сказала Мерит. - Это бог ко мне шёл, а не я к нему.

- Вот именно, - сказала мать Небнефера и ушла, унося с собой два мешка ячменя, которых Мерит никогда не видела, но которых ей, оказывается, было жаль.

Вот и всё сватовство. Хватило одного поклона.

Мать не сказала ни слова. Только поджала губы и вернулась к очагу, где варить по-прежнему было нечего.

* * *

Мужчины собрались у ворот, когда небо только начало светлеть. Пришли все: левая сторона, правая сторона, старики, которые уже не рубили камень, но всё ещё считались мастерами, мальчишки-ученики. Пришёл Аменнахт - в чистой одежде, с палочкой для письма за ухом, как будто шёл не бунтовать, а составлять отчёт. Мерит подумала, что, может быть, для писца это одно и то же.

Женщинам идти не полагалось. Но кто-то должен был нести воду, и Мерит взвалила на плечо кувшин раньше, чем мать успела сказать «нет».

Они шли по тропе вниз, к полям, туда, где у края возделанной земли стояли заупокойные храмы старых фараонов. На пути было несколько постов стражи. Мастера всю жизнь

проходили их только в положенные дни, и стражники знали каждого по имени. В этот раз стражники вышли навстречу и замерли, не понимая, что делать. Шестьдесят человек с инструментами шли мимо них молча, и никто не останавливался.

- Куда? - спросил наконец старший стражник. - Сегодня не ваш день.

- Сегодня наш день, - ответил кто-то сзади. И мастера засмеялись - нехорошо, хрипло, как смеются люди, которые слишком долго не ели.

Пост за постом. Стражники оставались позади, растерянные, а впереди вставали храмы - огромные, белые, с раскрашенными колоннами, с садами, которые поливали каждый день, пока в деревне берегли каждую каплю.

Мастера сели у задней стены храма Тутмоса Третьего. Просто сели на землю, в тени, положили рядом инструменты и стали ждать.

Мерит обходила их с кувшином. Отец пил жадно, другие тоже. Кувшин быстро опустел.

Если бы так же быстро можно было наполнить живот.

* * *

Первыми пришли жрецы храма. Потом начальник стражи некрополя с двумя людьми. Потом писцы. Каждый новый человек был одет чище предыдущего, и каждый говорил одно и то же: так нельзя, возвращайтесь, всё уладится.

Аменнахт встал. Мерит видела, как дрожат у него руки,

но голос был ровным.

- Мы пришли сюда от голода и жажды, - сказал он. - У нас нет одежды. Нет масла. Нет рыбы. Нет овощей. Восемнадцать дней этого месяца прошли, а паёк не выдан. Напишите об этом фараону, нашему доброму господину. Напишите визирю. Пусть они дадут нам то, на что мы живём.

Он говорил негромко, но его слышали все. А когда он замолчал, шестьдесят человек повторили, как один:

- Мы голодны.

Жрецы переглянулись. Начальник стражи посмотрел на храмовые амбары - туда, где за стеной хранилось зерно для подношений богам, - и отвёл глаза.

Так началось то, о чём потом напишут на папирусе. Мерит, конечно, тогда этого не знала. Она знала только, что у отца впалые щёки, а у Хуи руки тонкие, как тростник, и что за стеной, в амбаре, лежит хлеб, который никто не ест, потому что он для богов.

А боги, видно, тоже голодны. Иначе давно бы поделились.

* * *

К полудню из Фив пришёл писец визиря. Мерит узнала его сразу - по улыбке, протоптавшей тропинки на круглом лице.

Хеви был сама любезность. Он сел на землю рядом с мастерами, будто это было самое естественное место для большого человека, раздал всем финики из своего мешочка и долго говорил о том, как его огорчает положение дел, как ви-

зирь лично обеспокоен, как зерно уже в пути и будет завтра, самое позднее послезавтра.

- Вы же знаете, как это бывает, - говорил он, разводя руками. - Сейчас в Фивах всё вверх дном. Такое горе, такое горе.

- Какое горе? - спросил кто-то.

Хеви посмотрел удивлённо.

- Вы не слышали? В ночь вашего праздника умерла царевна Хенуттауи, сестра нашего фараона. Старая, конечно, совсем старая, но всё равно горе. Весь дворец в трауре.

Мерит не знала никакой царевны Хенуттауи. Но бусина у неё на груди вдруг потеплела - не обожгла, как вчера, а просто стала тёплой и тяжёлой, как будто кто-то положил ей на грудь ладонь.

В ночь праздника.

Хеви повернул голову и посмотрел прямо на неё. Улыбнулся.

- А ты, должно быть, та самая девушка, - сказал он. - Говорят, бог тебе поклонился. Какое чудо. Какое редкое, удивительное чудо.

Мастера вокруг притихли. Отец медленно поднялся на ноги.

- Моя дочь просто носит воду, господин, - сказал он.

- Конечно, конечно, - Хеви поднял руки, будто сдаваясь. - Я ничего такого не имел в виду. - Он помолчал и добавил: - Красивая бусина. Откуда?

- От бабки, - ответила Мерит. И только тут поняла, что

отвечает так же, как её мать: глядя в сторону.

* * *

Зерно, разумеется, не пришло ни завтра, ни послезавтра. Но в тот вечер мастера ещё верили, и Мерит вместе с другими женщинами, пришедшими с водой, отправили домой до темноты.

Она шла по тропе последней. Солнце уже ушло за скалы, и в каменной чаше деревни стало сумрачно и тихо. У стены, там, где тропа сворачивала к воротам, стояла старуха.

Мерит знала её, как знали все: старая Тэти жила одна, в хижине за стеной, и к ней ходили, когда больше идти было не к кому. Когда ребёнок не просыпался. Когда у коровы рождался телёнок о двух головах. Когда в доме случалось что-то, о чём не говорят писцам. Её называли «знающей», при встрече почтительно здоровались, а за спиной трогали амулеты.

Старуха была крошечная, тёмная и сухая, как финиковая косточка, а глаза у неё были светлые, почти белые.

- Иди сюда, - сказала она. - Дай понюхать.

- Что?

- Бусину твою. Не бойся, не украду. Мне чужого не надо, своего девать некуда.

Мерит, сама не понимая почему, подошла. Тэти взяла бусину двумя пальцами и поднесла к носу. Долго нюхала, закрыв глаза. Потом отпустила.

- Не наша, - сказала она. - И не из храма. Такую смолу

привозят из Страны бога. Из Пунта. Царю привозят, понимаешь? А не каменотёсам.

- Мама говорит...

- Мама твоя говорит то, что ей велели говорить семнадцать лет назад, - перебила старуха. - И правильно делает. Только теперь поздно.

Она взяла Мерит за руку. Пальцы у неё были холодные и твёрдые, как корни.

- Боги не кланяются людям, девочка. Даже фараону не кланяются - это он им кланяется. За всю мою жизнь, а она длинная, я видела только одно, перед чем склоняется бог. И это был не человек. Это была сила, которая в человеке живёт.

- Какая сила?

Тэти долго смотрела на неё своими белыми глазами.

- Приходи ко мне ночью, когда твои уснут, - сказала она наконец. - Не сегодня. Сегодня ты ещё не готова слушать. И вот ещё что. - Она наклонилась ближе. - Тот толстый писец с финиками. Не говори с ним. Не бери у него ничего. И если он спросит про бусину снова - соври лучше, чем сегодня.

Она отпустила руку, повернулась и пошла прочь вдоль стены, маленькая, быстрая, и почти сразу растворилась в сумерках, будто её и не было.

* * *

В деревне было тихо. Мужчины остались у храмов, и улица казалась пустой и слишком широкой.

У дома старой Ият, соседки, которая знала всё обо всех,

Мерит остановилась. Под дверью что-то белело. Она нагнулась.

Черепки. Красная глина, осколки разбитого горшка, разложенные аккуратно, кругом, как будто кто-то нарочно выложил их так, чтобы их нашли. На самом крупном осколке чернели знаки.

Мерит не должна была уметь их читать. Девушкам письмо ни к чему.

Она прочитала.

Она водила пальцем по знакам, складывая их, как Аменнахт учил брата, а брат учил её, сам того не зная. Губы шевелились беззвучно. И знаки сложились в слово, которое она знала лучше многих других слов в деревне.

Ият.

Где-то внутри дома старая Ият закашлялась - долго, глухо, как кашляют те, у кого в груди что-то мокрое и тяжёлое.

Мерит выпрямилась. Ей вдруг стало холодно, хотя ночь была тёплой. Она огляделась. Улица была пуста. Двери закрыты. В нишах у входов белели головы предков, и ей показалось - только показалось, - что все они повёрнуты в одну сторону. К черепкам. И к ней.

Это потому, что темно. В темноте всё кажется не таким.

Она пошла домой быстро, не оглядываясь, крепко сжимая бусину в кулаке. Бусина была тёплой.

Утром старая Ият не встала с постели. К полудню о ней

говорила вся деревня. А о черепках у её двери не говорил никто, потому что никто, кроме Мерит, их не видел: когда соседи пришли, у порога было чисто.

Глава четвёртая
Великая Зелень

Восьмой год правления Рамсеса Третьего. Побережье Джахи и устья Нила.

За три года войско научило Небамона многому. Он научился спать сидя, есть на ходу и попадать в бегущего человека с пятидесяти шагов. Научился не слышать, как кричат раненые, и не чувствовать запаха, от которого в первый раз его вывернуло наизнанку. Научился держать язык за зубами, а руки при себе, если поблизости десятник. И научился считать не хуже писца - во всяком случае то, что касалось его доли.

Доля была неплохая. После ливийцев были ещё стычки на западной границе - мелкие, грязные, без песен, - и после каждой Хеви записывал за лучником Небамоном на несколько рук больше, чем тот приносил. Разницу делили. Небамон не спрашивал, откуда берутся руки, которых он не рубил. Хеви не спрашивал, почему Небамон по ночам вскакивает и сидит до рассвета, глядя на вход в палатку.

После каждой битвы рук оказывалось на одну больше, чем убитых. Каждый раз. Хеви давно перестал смеяться над этим. Он просто вычёркивал лишнюю и ничего не говорил.

На шее у Небамона висели уже две золотые мухи.

* * *

Весной восьмого года с севера пришли вести, в которые сначала никто не поверил.

Говорили, что за морем рухнули царства. Что великое царство хеттов, с которым воевал ещё Рамсес Великий, сгорело, как сухой тростник. Что пали богатые города на побережье, и от некоторых не осталось даже стен. Что всё это сделали народы с островов и северных берегов - пелесет, чекер, шекелеш, денйен, вешеш, - которые снялись с мест всем племенем и идут на юг, по суше и по морю, сжигая всё на пути. И что теперь они идут сюда.

- Сказки, - сказал бородатый пехотинец у костра. - Чтоб нам меньше платили.

- Не сказки, - сказал Хеви, и все замолчали: писец видел больше донесений, чем вся сотня вместе. - Я сам их переписывал. Они уже в Амурру. Это близко.

* * *

Войско шло на север, через пустыню, в Джахи - так египтяне называли побережье Ханаана. Для Небамона это была первая чужая земля.

Здесь всё было иначе. Земля не плоская, как в дельте, а холмистая, зелёная, с рощами олив, серебристых на ветру. Города стояли на холмах за каменными стенами, и в них говорили на языках, похожих на египетский так, как похожи друг на друга двоюродные братья: вроде знакомо, а не пой-

мёшь. Пахло кедром и овечьим сыром. Дождь здесь шёл зимой сам, без всякого разлива, и местные говорили о нём с такой же нежностью, с какой египтяне - о Ниле.

А потом Небамон увидел море.

Он вырос у воды и думал, что знает о ней всё. Но это была не река и не озеро в тростниках. Это была Великая Зелень - так египтяне называли море, - и она шла до самого края мира и дальше, тяжёлая, живая, шумная, и не было у неё другого берега. Небамон стоял на холме и не мог отвести глаз. Ветер нёс соль и запах чего-то огромного и древнего, старше всех фараонов, старше богов.

Где-то там, за ней, другие земли. Другие люди. Другие боги. А я сын рыбака из деревни в сорок домов.

Ему вдруг захотелось смеяться. Он сам не понял почему.

* * *

Пелесет шли по берегу народом, как когда-то ливийцы, только их было больше. Повозки, запряжённые быками, с колёсами из цельного дерева, а в повозках - женщины и дети. Стада. Старики. Воины в шлемах, похожих на короны из перьев. Они не прятались и не ждали нападения. Они просто шли на юг, туда, где, как им говорили, была земля и хлеб.

Египтяне ждали их в узком месте между холмами и морем.

Небамон не любил вспоминать эту битву. Потом, когда её высекли на стенах храма, он долго стоял перед изображением и искал себя. Не нашёл. Там были колесницы, фараон

огромного роста, враги, падающие из повозок, и дети, которых матери прижимали к груди. Детей камнерезы изобразили очень точно.

Колесницы врезались в обоз. Лучники стреляли в упор. Быки ревели и опрокидывали повозки. Небамон натягивал тетиву и отпускал, и уже не трусил - вот что было страшно. Руки не дрожали. Он целился и попадал, и каждый раз внутри что-то тихо отмечало: ещё один.

В опрокинутой повозке, мимо которой он пробегал, сидела девочка лет пяти и молча смотрела на него. Не плакала. Просто смотрела.

Он пробежал мимо. Что стало с девочкой, он не знал. Не хотел знать.

Он даже не успел поднять копьё. А она даже не плакала.

* * *

Но главное случилось потом, через месяц, уже в Египте, в устьях Нила.

Корабли народов моря пришли с севера - много кораблей, с высокими носами в виде птичьих голов, с одним прямоугольным парусом. Они вошли в рукава дельты, рассчитывая подняться по реке, - и попали в западню. Устья заранее перегородили египетскими кораблями, а по берегам плотно, плечом к плечу, стояли лучники.

Небамон стоял на берегу, по колено в иле, и смотрел, как корабли с птичьими головами заходят в протоку. Узкую, мелкую. Он, сын рыбака, сразу понял, что большим кораб-

лям здесь не развернуться.

- Бей! - закричали сотники.

Это было похоже на ловлю рыбы. Он потом так и думал: как ловля, когда загонишь стаю в тупик и бьёшь острогой. Стрелы летели тучей. Враги прятались за щитами, но щиты не закрывали со всех сторон. Египетские корабли подходили вплотную, моряки цепляли вражеские борта крюками и тянули на себя, пока корабль не кренился и не переворачивался. Люди сыпались в воду. Воины в тяжёлых доспехах, с длинными мечами, шли ко дну, не успев даже вскрикнуть. Остальные барахтались у берега, и лучники стреляли в них, как в уток.

Вода в протоке стала бурой.

Среди тонущих Небамон увидел шлем с рогами. Шардан. Такие же служили в египетском войске - Небамон знал их, пил с ними пиво. А этот был по ту сторону. Он плыл к берегу неуклюже, одной рукой, вторая висела. Лучник рядом поднял лук.

- Не трать стрелу, - сказал Небамон. - Пленный дороже мёртвого.

Это была правда. За пленного давали больше, чем за руку. Пленного можно было продать или оставить себе в слуги.

Он вошёл в воду по пояс, схватил шардана за ремень и выволок на берег. Тот был тяжёлый, хрипел, плевался водой и кровью. Плечо у него было разрублено до кости.

Небамон собирался просто связать его и бросить к осталь-

ным пленным. Вместо этого он оторвал полосу от собственной набедренной повязки и перетянул ему плечо. Сам не понял зачем. Рана грязная, пленный может умереть, и тогда его не продашь. Вот зачем. Так он себе объяснил.

Шардан смотрел на него светлыми, как вода, глазами и что-то сказал. Потом ткнул себя здоровой рукой в грудь.

- Тархун, - сказал он.

Небамон не ответил. Не хватало ещё знать по имени товар.

Но запомнил.

* * *

После битвы пленных согнали на берег. Их были сотни: мужчины, женщины, подростки. Писцы переписывали их, а потом пришли люди с жаровнями.

Пленных клеймили. Раскалённым медным знаком на плече выжигали имя фараона - Рамсеса, владыки Обеих Земель, - чтобы каждый, кто увидит, знал: этот человек больше не принадлежит себе. У него больше нет своего имени. Есть только имя хозяина.

Небамон стоял и смотрел. Запах палёной кожи висел над берегом, смешиваясь с запахом ила и крови. Пленные кричали - кто-то громко, кто-то сквозь зубы. Тархун не кричал. Когда медь коснулась его плеча, он только зажмурился и повернул голову к Небамону. И смотрел на него, пока его не отвели в сторону.

- Твой? - спросил Хеви, подходя с дощечкой.

- Мой.

- Хорошая цена будет. Крепкий. Если не сдохнет от раны. - Хеви что-то записал. - Как его записать?

- Пленный, - сказал Небамон. - Просто пленный.

Хеви посмотрел на него внимательно и улыбнулся.

- Конечно, - сказал он. - Им ведь теперь имя не положено.

* * *

Ночью рук опять оказалось на одну больше.

Хеви сказал об этом коротко, вполголоса, когда они сидели у воды, - сказал так, будто сообщал о погоде. Потом ушёл спать. Небамон остался.

Протока была тихой и чёрной. По воде плыли обломки, тряпки, что-то тёмное, о чём не хотелось думать. Луна висела низко, и в её свете вода казалась густой, как масло.

У самого берега, в двух шагах от его ног, что-то шевельнулось.

Небамон замер. В воде, среди тростника, двигалось что-то бледное. Небольшое. Оно не плыло - оно перебиралось, цепляясь за стебли, медленно и упорно, как краб. Пять тонких отростков. Белых, разбухших от воды.

Это рыба. Это просто дохлая рыба, её качает течением.

Оно остановилось у самой кромки воды. И Небамону показалось, что оно ждёт.

За спиной кто-то хрипло вдохнул. Небамон обернулся. Тархун, связанный, лежал у костра среди других пленных - и не спал. Он смотрел туда же, на воду, и губы его шевелились.

Он шептал что-то на своём языке, быстро и тихо, одно и то же, как шепчут молитву или заговор.

Когда Небамон снова посмотрел на воду, там ничего не было. Только тростник и чёрная вода.

Он долго сидел у костра, не ложась. Тархун тоже не спал. Они не говорили - им не на чем было говорить. Но под утро шардан вдруг поднял здоровую руку, показал на Небамона, а потом на воду. И медленно покачал головой - так показывают ребёнку, что огонь горячий.

Через много лет, когда в храме Мединет-Абу высекут эту битву, писцы напишут, что враги были пойманы, как рыба в сеть, и что имя фараона наполнило их ужасом. Писцы не соврут. Только напишут не всё.

Глава пятая
Знающая

Двадцать девятый год правления Рамсеса Третьего. Второй месяц сезона всходов.

Старая Ият болела третий день.

В деревне, где все знают всё обо всех, болезнь соседки - событие почти праздничное. К ней ходили. Приносили воду, советы и последние новости, а уходили с новостями о самой Ият: сколько раз кашляла, какого цвета мокрота, что сказала знахарка из Фив, которую никто не звал, но которая всё равно пришла. Ият, всю жизнь собиравшая чужие тайны, впервые сама стала тайной, которую все обсуждают, и, как гово-

рили злые языки, это убивало её быстрее болезни.

Мерит пришла на третий день, вечером, с миской похлёбки - той самой, «горячего», в котором плавали три листа и надежда.

Ият лежала на циновке, маленькая, серая, с лицом, которое как будто провалилось внутрь. Дышала она с хрипом, будто в груди у неё кто-то медленно рвал мокрую ткань. Но глаза были живые, острые, всё те же.

- А, - сказала она. - Явилась. Та самая.

- Я принесла поесть.

- Поставь. - Ият даже не посмотрела на миску. Она смотрела на Мерит. - Подойди. Ближе.

Мерит наклонилась. От Ият пахло потом, травами и ещё чем-то сладковатым, тяжёлым, от чего хотелось отвернуться.

- Я ведь видела, - прошептала Ият. - Тогда. Я одна не спала. Я всегда не сплю.

- Что видела?

- Семнадцать лет назад. Ночью. Твоя мать... - Ият схватила её за запястье, и пальцы у неё были горячие, как угли. - Твоя мать вернулась от реки, и у неё в руках был свёрток. А живот у неё, девочка, был плоский. Плоский, как у тебя. Я ещё подумала тогда...

Она закашлялась. Долго, страшно, сгибаясь пополам, и Мерит держала её за плечи, пока кашель не отпустил. На циновке остались тёмные брызги.

- Что подумали? - спросила Мерит. - Тётя Ият, что?

Но Ият уже смотрела мимо неё, в угол, туда, где темнело, и губы её шевелились без звука. Потом она закрыла глаза.

Плоский живот. Свёрток. Семнадцать лет назад.

Мерит вышла на улицу и долго стояла, прислонившись к стене. В голове было пусто и гулко, как в пустом кувшине.

* * *

Мастера сидели у храмов уже четвёртый день. На второй день они перебрались от храма Тутмоса к храму Рамсеса Великого и сели прямо в воротах, так что жрецам приходилось перешагивать через их ноги. Говорили, что из Фив приезжали ещё начальники, что им выдали по горсти зерна - как подачку, - и что Аменнахт исписал уже второй свиток жалоб. Домой мужчины не возвращались.

В деревне остались женщины, дети и старики. Ночью улица была пустой и тихой, и никто не видел, как Мерит перелезла через стену там, где кирпич осыпался, и спустилась по тропе к хижине за деревней.

Хижина Тэти прилепилась к скале, как ласточкино гнездо. Снаружи - груда камней и тростника. Внутри Мерит остановилась на пороге и забыла, зачем пришла.

Здесь было всё, чего нельзя было найти ни в одном доме деревни. С потолка свисали связки сушёных трав, пучки перьев, нитки с нанизанными бусинами из синего стекла, крошечные амулеты - глаза, жуки-скарабеи, сжатые кулачки. На полках стояли миски, исписанные изнутри знаками по кругу. В углу, в кувшине с узким горлом, что-то шуршало. На

сундуке сидела одноглазая кошка и смотрела на Мерит своим единственным глазом с таким презрением, что сразу было ясно, кто здесь хозяйка. Пахло дымом, мёдом, сушёной рыбой и чем-то горьким.

А посреди всего этого, у очага, сидела Тэти и толкла что-то в каменной ступке.

- Ну, - сказала она, не поднимая головы. - Пришла всё-таки. Я думала, раньше. Садись. Кошку не трогай, она этого не любит. Кувшин не открывай, там скорпион. Миски не читай, это письма мёртвым, а мёртвые не любят, когда читают их почту.

Мерит села на циновку, подальше от кошки.

- Письма мёртвым?

- А ты думала. - Тэти отложила ступку. - Умер у человека муж, а дома начались беды. Значит, муж обижен. На что - неизвестно. Человек приходит ко мне, я пишу в миске: дорогой мой, что я тебе сделала, почему ты мне вредишь, я же тебя кормила, когда ты болел. Ставим миску с едой у гробницы. Мёртвый ест, читает и, глядишь, успокаивается. Мёртвые, девочка, они как живые. Только обидчивее.

Она сказала это так просто, как говорят о том, что вода мокрая. Мерит почувствовала, как по спине прошёл холодок, - и одновременно что-то другое, острое, похожее на радость. Словно стена деревни, которую она знала всю жизнь, вдруг оказалась не концом мира, а всего лишь стеной. А за ней - всё это.

- Ият сказала, что моя мать принесла меня от реки, - сказала Мерит. - В свёртке.

Тэти помолчала.

- Ият всегда видела больше, чем следовало, - сказала она наконец. - И говорила больше, чем следовало. Поэтому её горшок и разбили.

- Вы знаете?

- Я знаю, что такие горшки бьют не просто так. Это старая чёрная работа, девочка. Так делали ещё при первых фараонах: на красном горшке пишут имя врага и разбивают. Враг слабеет. Фараоны писали имена чужих народов. А здесь кто-то написал имя болтливой старухи, которая семнадцать лет назад не спала ночью. - Тэти посмотрела на неё в упор. - И которая, наверное, на празднике громче всех кричала про твою бусину.

Мерит вспомнила толпу. Вспомнила Ият с амулетом. Вспомнила писца у стены.

- Это он, - сказала она. - Тот толстый писец.

- Может быть. А может, тот, кому писец служит. Или тот, кто служит писцу. - Тэти пожала плечами. - Не торопись называть имена. В твоём положении это опасная привычка.

- В каком положении?

Тэти вздохнула, будто ей предстояло объяснять ребёнку, почему солнце не падает.

* * *

- Ты знаешь, как пишется имя богини Исиды? - спросила

она.

Мерит кивнула. Это был один из первых знаков, которые она перерисовала у брата.

- Трон, - сказала она. - Сиденье трона.

- Вот. А почему?

- Не знаю.

- Потому что она и есть трон. Не фараон - трон. Фараон на нём только сидит. На старых рисунках он сидит у неё на коленях, как ребёнок у матери. Писцы думают, что это красивое иносказание. Писцы много чего думают. - Тэти взяла из очага уголёк и стала чертить на полу. - А на самом деле власть фараона - не его. Она живёт в женщине. Всегда в одной. Её называют Хранительницей трона. Пока она жива, сила живёт в ней. Умирает - сила уходит к другой.

- И фараон...

- Фараон может стать фараоном, только если Хранительница его признает. Не по крови. Не по завещанию. Не потому, что жрецы надели ему корону. Она сажает его у своих ног - и сила трона переходит в него. Без этого он просто человек в короне.

Тэти провела под рисунком черту.

- Правил немного, но запомни их, потому что от них зависит больше, чем ты думаешь. Первое: Хранительница сама не правит. Она признаёт. Второе: признать можно только один раз в жизни. Третье: признание не заберёшь назад - кого признала, тот и останется. И четвёртое, самое главное.

Она подняла на Мерит свои белые глаза.

- Признание должно быть от сердца. Если Хранительницу заставили, обманули или околдовали, сила в фараоне начинает гнить. И гниёт всё вокруг него. Урожай. Люди. Мёртвые в гробницах.

Кошка на сундуке зевнула, показав мелкие острые зубы.

Мерит сидела не шевелясь.

- Почему фараоны женятся на сёстрах? - спросила она вдруг сама не зная зачем.

- Умница, - сказала Тэти без улыбки. - Вот поэтому. Чтобы сила переходила от царевны к царевне и не уходила из семьи. Они держат её во дворце веками, как воду в кувшине.

- А царевна Хенуттауи...

- ...умерла в ночь праздника. Ей было за семьдесят. Больше тридцати лет сила жила в ней. - Тэти помолчала. - Не знаю, своей ли смертью она умерла. Знаю только, что в ту ночь сила вырвалась из кувшина. И должна была уйти к другой царевне. А ушла к тебе.

- Почему ко мне?

- Не знаю, - честно сказала старуха. - Правда не знаю. Сила выбирает сама, и никто не может ей указывать. Но она пахнет той же смолой, что и твоя бусина. Это всё, что я могу сказать.

Мерит машинально сжала бусину в кулаке. Тёплая.

- Значит, я...

- Значит, ты - Хранительница трона, - сказала Тэти. - Дочь каменотёса. Или не дочь. Без единой капли царской крови.

И без единого понятия, что с этим делать. - Она хмыкнула. - Если хочешь знать моё мнение, боги иногда шутят хуже, чем пьяные солдаты.

* * *

Они долго сидели молча. В кувшине шуршал скорпион. Огонь в очаге осел и стал красным.

- Что теперь будет? - спросила наконец Мерит.

- Теперь? Теперь о тебе узнают. Уже узнали, раз начали бить горшки. Во дворце сейчас есть царевны, которые всю жизнь ждали, что сила придёт к ним. Есть мать, у которой сын не наследник, но очень хочет им стать. Есть наследник, которому без тебя трона не видать. Есть жрецы. Есть писцы. - Тэти загибала пальцы. - И все они сейчас думают об одном: как сделать так, чтобы девочка из Места Истины признала того, кого нужно им.

- А если я никого не признаю?

- Тогда, когда старый фараон умрёт, на трон сядет человек без силы. И всё, что держалось этой силой, начнёт разваливаться. Медленно. Сначала - разлив запоздает. Потом - урожай. Потом - что-нибудь похуже.

- Похуже голода?

Тэти посмотрела на неё долгим взглядом и ничего не ответила.

- Ладно, - сказала она наконец и хлопнула ладонями по коленям, как торговка, закончившая торг. - Хватит на сегодня. Голова у тебя и так как улей. Иди домой, пока мать не

проснулась. И вот что, девочка. - Она прищурилась. - О женихах из десятников можешь забыть. Сила выбирает Хранительницу, а Хранительница выбирает фараона. Так что впредь будь разборчивее.

- Я и не собиралась за Небнефера, - сказала Мерит.

- Знаю. Видела, как ты на него смотришь. Как на мешок с ячменём, которого никогда не видела.

И Тэти впервые за весь вечер засмеялась - сухо, отрывисто, как кашляет старая собака.

* * *

Мать не спала.

Она сидела у остывшего очага в темноте, и Мерит увидела её, только когда закрыла за собой дверь. Обе замерли.

- Ты была у Тэти, - сказала мать. Не спросила - сказала.

- Да.

Тишина. Хуи посапывал во сне. Над входом белела бабушкина голова.

- Ият говорит, ты принесла меня от реки, - сказала Мерит. Голос у неё дрогнул, и она разозлилась на себя за это. - В свёртке. Говорит, у тебя живот был плоский.

Мать долго молчала. Потом встала, подошла и взяла лицо Мерит в ладони - грубые, шершавые, пахнущие дымом и мукой, которой давно не было.

- Ты моя дочь, - сказала она. - Я кормила тебя. Я сидела над тобой, когда у тебя был жар. Я учила тебя ходить. Ты моя дочь. Остальное неважно.

- Но откуда...

- Остальное неважно, - повторила мать, и голос у неё сломался. Она прижала Мерит к себе, крепко, до боли, и Мерит почувствовала, что мать плачет - беззвучно, всем телом, как плачут женщины, которые привыкли, что плакать некогда.

Они стояли так долго.

А потом Мерит поняла, что слышит тишину.

Три ночи подряд через стену доносился кашель старой Ият - глухой, мокрый, бесконечный. Сейчас его не было.

Мать тоже это поняла. Она подняла голову и посмотрела на стену, за которой был соседский дом.

Над входом, в нише, бабушкина голова смотрела туда же. Мерит могла бы поклясться, что ещё вечером она смотрела прямо на дверь.

Глава шестая
Страна бога

Девятый год правления Рамсеса Третьего. Путь в Пунт.

Тархун оказался плохим товаром.

Покупатели приходили, щупали ему плечо, заглядывали в зубы, как ослу, и уходили, не сторговавшись. Рана заживала медленно и криво, рука поднималась только до груди, а взгляд у шардана был такой, что покупатели начинали торговаться ещё тише и уходили ещё быстрее. Через три месяца Небамон понял, что продать его не выйдет, и оставил себе. Не из жалости. Просто кормить слугу дешевле, чем на-

нимать.

Так он себе объяснил.

Тархун чистил ему лук, таскал воду, чинил сандалии и учил египетский. Учил быстро и по-своему: первыми словами, которые он выговорил без ошибки, были «пиво», «десятник» и ругательство, за которое в деревне Небамона мыли рот песком. Небамон в ответ выучил несколько слов на его языке - тоже не самых приличных. Иногда по вечерам они сидели у огня и ругались друг на друга на двух языках сразу, и тогда со стороны казалось, что они друзья.

Они не были друзьями. Друзьями не клеймят.

Но по ночам, когда у входа в палатку начинало тихо скрестись, Небамон видел, что шардан не спит. Сидит в темноте, смотрит на вход и шепчет своё. И скрежет стихает раньше.

Небамон никогда не спрашивал, что он шепчет.

* * *

Весной девятого года в лагере объявили набор в экспедицию. Фараон посылал корабли в Пунт, в Страну бога, за благовониями. Брали лучников, моряков, носильщиков, писцов.

Хеви пришёл к Небамону вечером, весёлый, пахнущий хорошим пивом.

- Я записал тебя, - сказал он.

- Куда?

- В Пунт, друг мой. На край мира. Туда, где деревья плачут благовониями, а у людей кожа цвета красного дерева. - Он

развёл руками, будто дарил Небамону всё это сразу. - Вернёшься богатым. Вернёшься, может быть, десятником. Если вернёшься.

- А ты?

- А я остаюсь, - вздохнул Хеви. - Кто-то должен приглядывать за делами здесь. - Он подмигнул. - Твоими тоже.

Небамон знал, что отказаться нельзя. Он только потом, много лет спустя, задумался, почему Хеви так хотел, чтобы он уплыл подальше. Тогда он думал только об одном: о море.

* * *

Сначала было не море, а пустыня.

От Коптоса, города на Ниле, к Красному морю вела старая дорога через Вади Хаммамат - долину между горами, мёртвую, жёлтую, раскалённую, как стенка печи. Пять дней пути. Колодцы через день, и вода в них солёная. На скалах вдоль дороги - надписи: имена тех, кто шёл здесь раньше, сотни имён за тысячу лет. Небамон не умел читать, но трогал их пальцами. Люди выбивали в камне своё имя, чтобы их не забыли. А по дороге между надписями лежали кости ослов, выбеленные солнцем.

Носильщики шли под палками надсмотрщиков, неся мешки, кувшины, связки верёвок. Ослы падали и не вставали. Двое носильщиков тоже упали и не встали. Их оставили там, где упали, - насыпали сверху камней, и всё. Без имени. Писец экспедиции вычеркнул их и пошёл дальше.

Небамон шёл и думал, что скоро будет море, и от этой

мысли было легче.

Море пришло на шестой день - синее, такого цвета, какого Небамон не видел никогда и нигде. Не зелёное, как Великая Зелень у Джахи, а синее, как лазурит, как глаза богов на храмовых росписях. У берега, в маленькой гавани, стояли корабли, построенные из ливанского кедра и доставленные сюда кусками, как разобранная мебель. Пахло солью, смолой и рыбой. Небамон вдохнул этот запах и понял, что пустыня кончилась.

Он ещё не знал, что морская болезнь хуже пустыни.

* * *

Плыли на юг больше месяца.

Небамона тошнило первые десять дней. Тошнило всех, кроме моряков, которые смеялись и кидали в блюющих солдат рыбьи головы. Потом тошнить перестало, и стало просто тесно, жарко и скучно. Вода в кувшинах протухла. Сухари завелись червями. У нескольких человек начали кровоточить дёсны и шататься зубы. Один моряк умер от лихорадки, и его бросили за борт. Акулы шли за кораблём два дня, будто ждали, кто следующий.

Но были и другие дни.

Были ночи, когда море светилось. Небамон впервые увидел это, когда свесился за борт облегчиться, и чуть не упал от неожиданности: вода под ним горела голубым холодным огнём, и каждая волна вспыхивала, как рассыпанное серебро. Были дельфины, которые прыгали у самого носа кораб-

ля, и моряки говорили, что они провожают тех, кому боги благоволят. Были берега - то голые и красные, как обожжённая глина, то с пальмами и белым песком. Было небо, такое огромное, что Небамон по ночам лежал на палубе и не мог уснуть, потому что не хотел пропустить ни одной звезды.

Однажды ночью рядом лёг Тархун.

- У нас, - сказал он, медленно подбирая египетские слова, - на острове. Тоже море. Такие звёзды.

- Скучаешь?

Тархун долго молчал.

- Нет острова, - сказал он наконец. - Сгорел. Все ушли. Мать, отец. Жена.

Небамон не спросил, куда они ушли. Он вспомнил протоку, бурую воду и тех, кто шёл ко дну в тяжёлых доспехах, не успев вскрикнуть. Вспомнил повозки на берегу Джахи. Девочку, которая не плакала.

Может, его жена была в одной из тех повозок. Может, я пробегал мимо неё.

Он ничего не сказал. Тархун тоже. Они лежали рядом и смотрели на звёзды, и это было первое, что они делили не по приказу.

* * *

Пунт был таким, как в сказках. Даже лучше.

Корабли вошли в устье реки, и по обоим берегам стояли дома на высоких сваях, круглые, с острыми крышами, а к дверям вели лестницы. Под домами паслись коровы с огром-

ными изогнутыми рогами. По деревьям прыгали обезьяны и бранились на пришельцев. В траве мелькали жирафы - Небамон сначала решил, что это деревья, которые ходят. А на холмах за деревней росли те самые деревья: невысокие, кривые, с серой корой, и из надрезов на коре сочилась смола - белая, жёлтая, медовая, - и пахла так, что кружилась голова.

Люди Пунта вышли к берегу встречать гостей. Высокие, с кожей цвета красного дерева, с тонкими бородками, в коротких повязках. Их вождь носил на ноге кольца из золота до самого колена, а его жена была толстой - такой толстой, что её несли на носилках, и это, как объяснили Небамону, считалось признаком знатности.

- Как у нас в Мемфисе, - пробормотал рядом бородатый пехотинец. - Чем толще, тем знатнее.

Египтяне выгрузили на берег подарки: бусы, кинжалы, топоры, браслеты. Пунтийцы принесли своё: мешки со смолой, живые деревья в корзинах с землёй, слоновую кость, чёрное дерево, золото, шкуры леопардов, связанных обезьян. Писцы считали. Вожди обменивались речами. Ночью был пир, и Небамон впервые в жизни ел жирное мясо до отвала и пил что-то кислое и пенное, от чего ноги стали ватными, а мир - добрым.

Вот бы здесь остаться, - подумал он. *Насовсем. Никаких палок. Никаких рук.*

В ту ночь скрежета не было. Впервые за четыре года.

* * *

Святилище стояло в роще благовонных деревьев на холме, и египтян туда не пускали.

Небамон узнал о нём от толмача, старого пунтийца, который говорил по-египетски, потому что в молодости плавал с прошлой экспедицией. Толмач любил выпить и любил рассказывать.

- Там живёт Владычица, - сказал он, понизив голос. - Ваша Хатхор, только у нас она старше. Вы называете её «владычицей Пунта», знаешь? Потому что она отсюда. Всё ваше царство отсюда пошло, только вы забыли.

- Что значит - отсюда?

Толмач покосился на него хитрым пьяным глазом.

- Сила вашего трона, - сказал он. - Та, что живёт в ваших царицах. Её когда-то унесли от нас, давно, когда ваши первые цари приплывали сюда. Взяли в дар. А потом... - он покачал головой. - Потом с ней сделали что-то нехорошее. У вас. Лет десять назад. Наши жрицы почувствовали это здесь, как боль в зубе. Сила теперь больная. Грязная. Жрицы говорят, когда-нибудь её надо будет очистить. Но как - не говорят.

Он отхлебнул из кувшина.

- А в святилище, - сказал он совсем тихо, - лежат слёзы самого первого дерева. Того, из которого сила вышла. Одна такая слеза стоит больше, чем все ваши корабли. Говорят, тот, кто её носит, к тому сила сама придёт, когда освободится. - Он засмеялся. - Но это сказки. Сказки для пьяных египтян.

Небамон не смеялся.

Он думал о золоте. О том, сколько стоит то, что стоит больше всех кораблей. О доме в дельте, о полях, о жизни без палок. Он думал о том, что Хеви остался в Египте и не возьмёт себе половину.

Об остальном он не думал. Сила, царицы, очищение - это было не про него.

* * *

Он пошёл ночью, накануне отплытия.

Роща была тёмной и пахла так сильно, что было трудно дышать. Под ногами хрустели сухие листья. Святилище оказалось не храмом, а хижиной из тростника, круглой, с низкой дверью, а внутри, на глиняном возвышении, стояла деревянная фигура женщины с коровьими рогами. Перед фигурой - глиняная чаша. В чаше - бусины. Тёмные, медовые, тусклые. Небамон думал, что они будут сиять. Они не сияли. Просто смола.

Он взял одну.

Она была тёплой. Теплее его руки.

- Положи.

Небамон обернулся. В дверях стоял человек - молодой, моложе его, худой, с копьём. Сторож. Он смотрел на египтянина без страха, скорее с удивлением, как смотрят на ребёнка, который полез в огонь.

- Положи, - повторил он по-египетски, с трудом. - Не твоё. Плохо будет.

Небамон мог положить. Он потом много раз думал о том,

что мог.

Он сделал шаг вперёд, как будто хотел пройти мимо, и ударил сторожа ножом под рёбра. Тот выронил копьё и сел на пол, держась за бок, и посмотрел на Небамона - с тем же удивлением. Сказал что-то на своём языке. Одно слово.

Он даже не успел поднять копьё.

Небамон перешагнул через него и побежал.

* * *

Он бежал через рощу, а за ним кричали. Сначала один голос, потом много. Ветки хлестали по лицу. Бусина в кулаке жгла ладонь.

У края рощи, на тропе, стояла старуха. Совсем старая, высокая, в белом, с бритой головой. Жрица. Она не пыталась его остановить. Просто стояла и смотрела - не на него, а за него. Ему за спину. Туда, где на тропе в лунном свете ничего не было.

Её лицо исказилось. Небамон впервые видел, чтобы кто-то смотрел на пустое место с таким ужасом и отвращением.

- Что за тобой ходит, египтянин? - сказала она по-египетски чисто, без всякого акцента. - Что ты привёл в мою рощу?

Небамон не ответил. Он не мог обернуться. Не мог.

Жрица перевела взгляд на его кулак, где была зажата бусина. И вдруг засмеялась - тихо, горько.

- Значит, так, - сказала она. - Значит, через тебя. Через вора и убийцу. Боги знают, что делают, даже когда я не знаю. - Она отступила с тропы. - Иди. Неси. Ты донесёшь, но не

удержишь.

- Что это значит?

- Узнаешь, - сказала жрица. - Когда будет уже поздно.

Он побежал дальше.

* * *

Корабли отплыли на рассвете, поспешно, раньше, чем собирались. Вожди Пунта не провожали гостей. На берегу стояли только люди с копьями и смотрели вслед.

Начальник экспедиции так и не узнал, почему пунтийцы вдруг стали враждебны. Решили, что дикари обиделись из-за подарков.

Небамон сидел на корме, сжимая в кулаке бусину. Она всё ещё была тёплой. Рядом сидел Тархун и смотрел на него. Долго. Потом сказал - спокойно, по-египетски, без ошибок, как будто давно готовил эти слова:

- Ты убил человека. За камешек.

- Это не камешек.

- За камешек, - повторил Тархун. И отвернулся к морю.

Больше он об этом не заговаривал. Но в ту ночь, когда у борта, в тёмной воде, что-то тихо заскреблось о доски, шардан не стал шептать своё. Он лежал, смотрел в небо и молчал.

Скрежет продолжался до самого рассвета.

Писец экспедиции, отчитываясь фараону, записал всё, что привезли из Страны бога: мешки благовонной смолы, живые деревья, золото, чёрное дерево, шкуры. Всё сошлось до по-

следнего мешка. Одной маленькой бусины никто не хватился. Её не было в списках с самого начала.

Глава седьмая
Первый час ночи

Двадцать девятый год правления Рамсеса Третьего. Третий месяц сезона всходов.

Старую Ият похоронили на третий день, в маленькой гробнице за деревней, рядом с мужем, который умер двадцать лет назад и, по общему мнению, до сих пор отдыхал от её разговоров.

Мужчины ради похорон вернулись от храмов. Пришли худые, злые, с потрескавшимися губами, постояли у гробницы, послушали, как плачут женщины, и ушли обратно. Зерна так и не привезли. Аменнахт говорил, что визирь обещал. Визирь, говорили, тоже обещал - кому-то повыше. В деревне перестали спрашивать, кто кому обещал. Спрашивали только, что сегодня есть.

Ели траву. Ели финики, которые старики берегли на чёрный день, а теперь решили, что чёрнее не будет. Варили похлёбку из кожаных ремней. Дети больше не бегали по улице, а сидели в тени у стен, большеглазые и тихие, как совята.

Мерит после разговора с Тэти ходила как во сне. Днём она носила воду, молола то, что можно было смолоть, и слушала, как соседки шепчутся у неё за спиной. Ночью лежала без сна и думала.

Хранительница трона. Я. Дочь каменотёса, которой даже писать не положено.

Иногда ей казалось, что всё это ей приснилось. Тогда она брала в руку бусину, и бусина была тёплой.

* * *

За деревней, в овраге у северной стены, была свалка.

Туда выбрасывали всё, что больше не годилось: битые горшки, рваные корзины, золу, кости. И черепки. Сотни, тысячи черепков и плоских осколков известняка, на которых писали - ведь папирус дорог, а камня вокруг сколько угодно. Писцы списывали на них счета. Ученики - уроки. Мастера - записки, долги, жалобы, неприличные стихи и рисунки, за которые в приличном обществе краснели.

Для Мерит свалка была библиотекой.

Она приходила сюда с детства, тайком, когда никто не видел. Рылась в мусоре, выбирала осколки со знаками, прятала под одеждой и потом, ночью, разбирала - знак за знаком, слово за словом. Так она прочитала свою первую сказку - про моряка, который попал на остров к огромному змею. Свой первый список долгов. Свою первую любовную песню, нацарапанную чьей-то нетвёрдой рукой: «Сестра моя - как сад, где все цветы...». Дальше осколок был отбит. Мерит потом неделю гадала, какие там были цветы.

В тот день она пришла не за знаками. Ей просто нужно было побыть одной. Она села на камень, обхватила колени и долго смотрела на кучи мусора, не видя их.

Потом увидела.

Из-под груды золы торчала маленькая голова. Синяя - того густого, яркого синего цвета, каким покрывают фигурки из глазурованной глины. Мерит наклонилась и вытащила её.

Фигурка была размером с ладонь. Человечек в длинной юбке, с плёткой в одной руке. Лицо строгое, брови нахмурены, подбородок выставлен вперёд, как у человека, который собирается сказать что-то неприятное. А через всю спину, от плеча до пояса, шла трещина.

Мерит знала, что это такое. Такие фигурки делали в мастерских для гробниц и называли «ушебти» - «ответчики». Их клали к умершему, чтобы на том свете, когда боги позовут его работать на полях, вместо него отвечали они. Пахали, сеяли, таскали песок. В богатых гробницах их было много - по одной на каждый день года. А над каждым десятком работников ставили надсмотрщика. С плёткой. Вот такого.

На передней стороне фигурки, по юбке, шли знаки. Мерит провела по ним пальцем, по привычке шевеля губами. Знаки были знакомые - она видела их на десятках осколков, это было заклинание, которое писали на всех ушебти.

- «О ушебти, - прочитала она шёпотом, - если позовут меня делать работы, что делают в царстве мёртвых... скажи: вот я».

Бусина на груди стала горячей.

Фигурка в руке шевельнулась.

* * *

Мерит не закричала. Потом она сама удивлялась, почему. Наверное, потому что после бога, склонившегося перед ней, после белых глаз Тэти и черепков у двери Ият удивляться было уже нечему. Она просто сидела и смотрела, как маленький синий человечек у неё на ладони медленно поворачивает голову, моргает глиняными глазами и хмурится ещё сильнее.

- Наконец-то, - сказал он. Голос у него был тонкий, скрипучий, как будто кто-то водил камешком по черепку. - Сколько можно ждать? Я здесь лежу с прошлого разлива! В золе! Рядом с рыбьими костями! Ты знаешь, как пахнут рыбьи кости через год?

- Нет, - сказала Мерит.

- А я знаю! - Человечек сел на её ладони, поджав ноги, и с отвращением отряхнул юбку. - Ну? Где работа? Где поля? Где мои десять бездельников?

- Каких бездельников?

- Моих! - Он посмотрел на неё как на дурочку. - Я надсмотрщик. Надсмотрщик над десятком. Меня сделали, чтобы я надзирал. Вот, - он гордо поднял плётку, - видишь? Это знак должности. Где мой десяток?

- Не знаю, - честно сказала Мерит. - Тебя выбросили.

Человечек замолчал. Потом очень медленно, очень осторожно завёл руку за спину и потрогал трещину.

- Ах да, - сказал он совсем другим голосом. - Да. Я забыл.

Он сидел у неё на ладони, маленький, синий, с опущенной плёткой, и Мерит вдруг стало его ужасно жалко. Так же, как

было жалко Хуи, когда он засыпал голодным.

- Как тебя зовут? - спросила она.

Человечек вскинул голову.

- Нехт, - сказал он с достоинством. - Это значит «сильный».

Мерит посмотрела на него - ростом с её палец, с трещиной через всю спину - и очень постаралась не улыбнуться.

Не получилось.

- Смейся, смейся, - проворчал Нехт. - Все смеются. Мастер в мастерской тоже смеялся, когда меня обжигал. А потом печь треснула, и я вместе с ней. И знаешь, что он сказал? Он сказал: «Этот не годится, надсмотрщик с трещиной - позор для гробницы». И выбросил. В золу. К рыбьим костям.

- Мне жаль.

- Ещё бы. - Он помолчал и добавил тише: - А ты почему меня разбудила? Обычно нас будят боги. Или мёртвые хозяева. Ты не похожа ни на тех, ни на других. Ты похожа на голодную девчонку с грязными коленками.

- Я и есть голодная девчонка с грязными коленками, - сказала Мерит. - Я просто прочитала, что на тебе написано.

Нехт уставился на неё. Потом на её грудь. На бусину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.